

Глава 1. Использование беспорядка и «харизмы»

Фрагмент 1. Закон анархической гимнастики Скотта

Открыт мной в конце лета 1990 года в Германии, в городе Нойбрандербурге.

Желая улучшить мои практически отсутствующие познания в немецком языке перед тем, как провести год в качестве гостя Берлинского института перспективных исследований (Wissenschaftskolleg), я, вместо того, чтобы ежедневно сидеть на занятиях в Институте Гёте вместе с прыщавыми подростками, придумал устроиться работать на ферму. Поскольку Берлинская стена пала всего за год до этого, я решил поискать работу на шесть летних недель в восточногерманском колхозе (по-немецки Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, сокращённо LPG), который недавно переименовали в сельхозкооператив. У моего приятеля по институту, как оказалось, был близкий родственник, чей шурин был председателем колхоза в крохотной деревушке Плетц. Хотя и неохотно, этот шурин согласился предоставить мне жильё и питание в обмен на работу и немаленькую еженедельную арендную плату.

С точки зрения изучения немецкого языка методом полного погружения, мой план был прекрасен, но в плане приятного и поучительного времяпрепровождения ферма была сущим кошмаром. Жители деревни и в первую очередь хозяин фермы отнеслись ко мне с подозрением: возможно, они думали, что я приехал искать нарушения в их бухгалтерии или что меня подослали голландские фермеры, которые подыскивали себе земельные наделы в ожидании распада соцлагеря.

Колхоз в Плетце был ярчайшим примером такого распада. Здесь выращивали картофель с повышенным содержанием крахмала, который не годился для жарки (хотя свиньи ели его за милую душу), а нужен был для того, чтобы обеспечивать крахмалом восточноевропейских производителей косметики. И никогда еще ни одна из отраслей экономики не обрушивалась столь же быстро, как производство косметики в странах соцлагеря: уже на следующий день после падения Берлинской стены огромные кучи крахмалистого картофеля лежали вдоль железнодорожной насыпи и гнили под летним солнцем.

Помимо гаданий на тему предстоявших им бедствий и о том, какую роль во всём этом могу играть я, у моих хозяев была куда более острая проблема — я плохо понимал по-немецки,

что для их маленькой фермы было чревато большими неприятностями. Что, если я открою не ту калитку и выпущу свиней на соседское поле? Или накормлю гусей кормом для коров? Помню ли я всегда запираю дверь амбара на случай набега цыган? В первую неделю я действительно давал им достаточно поводов для беспокойства, и они принимались кричать на меня, повторяя неизбежную ошибку человечества и тщетно надеясь на то, что языковой барьер можно преодолеть криком. Им всё ещё удавалось сохранять видимость вежливости, но взгляды, которыми они обменивались за ужином, недвусмысленно намекали, что их терпение уже на исходе. Атмосфера подозрительности, окружавшая мою работу, не говоря уж о моей явной некомпетентности и незнании языка, действовала мне на нервы.

Чтобы сберечь и их, и свою психику, я решил проводить один день в неделю в близлежащем городе Нойбранденбурге. Добираться туда было нелегко: поезда в Плетце не останавливались, если рядом с рельсами не было флага, означавшего просьбу подобрать пассажира. На обратном пути о намерении выйти в Плетце нужно было предупредить проводника, и тогда машинист останавливал поезд в чистом поле специально ради того, чтобы высадить такого пассажира. Когда я наконец оказывался в городе, то гулял по улицам, заходил в кафе и бары, притворялся, будто читаю немецкие газеты (тайком заглядывая в свой маленький словарик) и старался не выделяться из толпы.

Единственный поезд из Нойбранденбурга, который останавливался в Плетце, отправлялся около десяти вечера. Если бы я опоздал на него, мне пришлось бы ночевать в этом незнакомом городе подобно бродяге, поэтому я всегда старался быть на станции как минимум за полчаса до отправления. На протяжении шести или семи недель всякий раз перед станцией происходило нечто весьма любопытное, и у меня было достаточно времени, чтобы наблюдать за этим и даже участвовать. Именно во время такого включённого наблюдения — как это называется у антропологов — у меня зародилась мысль об «анархической гимнастике».

Возле вокзала находился большой, во всяком случае, по меркам Нойбранденбурга, перекрёсток. Днём он был загромождён машинами, пешеходами и грузовиками, поэтому на нём был установлен светофор. Однако поздно вечером автомобильное движение практически прекращалось, в то время как пешеходов, желавших насладиться вечерней прохладой, становилось намного больше. Между девятью и десятью вечера этот перекрёсток то и дело пересекали полсотни или даже больше пешеходов, и многие навеселе. Судя по всему, светофор был настроен под оживлённое дневное движение машин, а не под большое количество пешеходов по вечерам. Поэтому все эти пятьдесят или шестьдесят человек вновь и вновь терпеливо, по четыре-пять минут, а то и дольше, ждали зелёный свет на углу улицы, и казалось, они будут ждать вечно. Ландшафт Нойбранденбурга типичен для Мекленбургской равнины, то есть подобен блину, так что в обе стороны от перекрестка на пару километров не было видно ни одной машины, лишь крайне редко издали появлялся какой-нибудь одинокий маленький дымящий Трабант, который медленно подъезжал к перекрестку.

Я созерцал эту идиллию в общей сложности часов пять, и за всё это время лишь дважды некий пешеход решался перейти дорогу на красный свет под неодобрительное цоканье языков и показывание пальцем. Я тоже становился участником этой сцены. Если в этот день

у меня не особенно выходило с немецким языком и я чувствовал себя неуверенно, то я стоял на переходе вместе со всеми и ждал зеленого сигнала, потому что боялся косых взглядов в спину. Если же — такое случалось куда реже — у меня всё получалось и я чувствовал себя на высоте, то дорогу я переходил на красный свет, подбадривая себя размышлениями о том, что глупо повиноваться столь незначительному предписанию, в данном случае так противоречащему здравому смыслу.

Было удивительным настолько серьезно собраться с духом, чтобы всего лишь перейти дорогу вопреки общественному неодобрению. Как мало значили мои рациональные убеждения по сравнению с укоризной окружающих! Храбрый и решительный шаг на проезжую часть, возможно, производил сильное впечатление, но требовал больше мужества, чем обычно у меня было.

Пытаясь оправдать своё поведение, я принялся репетировать фразу на безукоризненном немецком, которая должна была стать ответом на возможный упрек в переходе дороги на красный свет: «Знаете, вам, а особенно вашим предкам, не хватает решимости нарушить закон. Когда-нибудь вам придётся нарушить важный закон во имя справедливости и рациональности. Всё будет зависеть от этого. Вы должны быть готовы. Как вы можете подготовиться к этому? Нужно всегда быть в форме. Нужно заниматься своего рода “анархической гимнастикой”. Каждый день нарушайте какое-нибудь незначительное правило, которое не имеет особого смысла, даже если это всего лишь переход дороги в неположенном месте. Включайте голову и думайте, справедлив и разумен ли закон. Так вы будете в форме, и когда наступит день X, вы будете готовы».

Решить, когда имеет смысл нарушить закон — дело непростое, даже в относительно безобидной ситуации перехода дороги в неположенном месте. Я вновь убедился в этом, когда посещал пожилого нидерландского учёного, чьими трудами я всегда восхищался. Во время моего визита он предстал убежденным маоистом и своего рода смутьяном в нидерландской университетской среде. Он пригласил меня на обед в китайский ресторан неподалёку от его дома в маленьком городке Вагенинген. Мы подошли к перекрестку, а на светофоре горел красный свет. Надо сказать, что рельеф в Вагенингене, как и в Нойбранденбурге, совершенно плоский, и местность просматривается на много километров во всех направлениях. Нигде не было видно машин. Я не раздумывая шагнул на проезжую часть, но д-р Вертхейм сказал: «Подожди, Джеймс». Я слабо запротестовал: «Доктор Вертхейм, но на дороге пусто», но всё-таки вернулся на тротуар. «Джеймс, — мгновенно ответил он, — это плохой пример детям». Я был вразумлён и получил урок. Этот смутьян-маоист одновременно обладал тонким, можно сказать, истинно нидерландским чувством гражданской ответственности, а я, американский ковбой, совершенно не думал о последствиях, которые мой поступок может иметь для окружающих. Теперь, когда я перехожу дорогу в неположенном месте, я всегда смотрю по сторонам, чтобы убедиться, что вокруг нет детей, которым мои действия послужили бы плохим примером.

Почти в самом конце моего пребывания на ферме в Нойбранденбурге произошло более значительное событие, которое приковало всеобщее внимание к вопросу нарушения закона. Небольшая заметка в местной газете сообщала, что анархисты из Западной Германии (оставался ещё месяц до формального воссоединения двух частей Германии) возили на

грузовой платформе из одного восточногерманского города в другой огромную статую из папье-маше и выставляли её на городских площадях. Выглядела она как бегущий человек, частично замурованный в гранит, а называлась «Памятник неизвестным дезертирам обеих мировых войн». На статуе была надпись «Посвящается человеку, который отказался убивать другого человека».

Меня впечатлил этот великолепный анархистский жест, эта игра на контрасте с почти универсальным образом неизвестного солдата, этого безвестного пехотинца, который пал смертью храбрых, воюя за свою страну. Даже в Германии, даже в той её части, которая совсем недавно называлась Восточной Германией и была «первым социалистическим государством на немецкой земле», этот жест вызывал неприязнь. Неважно, насколько далеко зашли прогрессивные немцы в своём отрицании нацизма, они всё ещё, не сомневаясь, восхищались верностью и самопожертвованием гитлеровских солдат. Бертольд Брехт мог бы сказать, что бравый солдат Швейк, этот противоречивый персонаж чешской литературы, предпочитавший битве за родину сосиски и пиво в теплом местечке, и есть пример народного пацифизма. Но городским администрациям в год заката ГДР при виде этой провокации из папье-маше было не до шуток. Статуя красовалась на городской площади ровно до тех пор, пока городские власти не запрещали её. Так она и путешествовала: из Магдебурга в Потсдам, из Потсдама в Восточный Берлин, из Восточного Берлина в Биттерфельд, из Биттерфельда в Галле, из Галле в Лейпциг, из Лейпцига в Веймар, из Веймара в Карл-Маркс-Штадт (Хемниц), из Хемница в Нойбранденбург, из Нойбранденбурга в Росток, а оттуда уже в Бонн — федеральную столицу ФРГ. Один за другим города изгоняли эту инсталляцию, что сопровождалось неизбежным в таких случаях резонансом. По-видимому, именно этого и добивались организаторы.

Этот яркий перформанс вкупе с пьянящей атмосферой первых двух лет после падения Берлинской стены был заразителен. Вскоре прогрессивно мыслящие люди и анархисты по всей Германии создали десятки собственных памятников дезертирам. Поразительно, что поступки, обычно считающиеся уделом трусов и предателей, внезапно признали почётными и даже в некоторой степени достойными подражания. Неудивительно, что именно Германия, которая определенно заплатила очень высокую цену за патриотизм на службе бесчеловечного режима, была одной из первых стран, где публично подвергли сомнению ценность послушания и стали устанавливать памятники дезертирам на площадях — рядом с мемориалами Лютеру, Фридриху Великому, Бисмарку, Гёте и Шиллеру.

Фрагмент 2. О важности неповиновения

Акты неповиновения интересны нам, когда они служат примером, а особенно, когда, уже став примером, они запускают цепную реакцию, вызывая в остальных желание подражать. В таком случае мы видим не просто индивидуальный протест, порожденный трусостью или совестью — а может быть, и тем, и другим, — но социальное явление с возможными значительными политическими последствиями. Многократно умножаясь, такие маленькие

поступки могут в конечном счёте не оставить камня на камне от придуманных генералами и президентами планов. Обычно такие маленькие протесты не освещаются в прессе, но так же, как миллионы полипов исподволь превращаются в коралловый риф, так тысячи тысяч актов неповиновения и уклонения создают экономический или политический барьерный риф.

Заговор молчания с обеих сторон окутывает подобные поступки анонимностью. Те, кто совершают их, редко стремятся привлечь к себе внимание: залог их безопасности — незаметность. Со своей стороны, правительство тоже не горит желанием привлечь внимание к растущему числу протестов, поскольку не хочет, чтобы они вдохновляли остальных и показывали слабость легитимной власти. В результате обе стороны дружно замалчивают случившееся, из-за чего такие формы неподчинения почти не отражаются в исторических источниках.

Вместе с тем такие поступки, которые я в другом месте назвал «формами повседневного сопротивления», имеют и имели громадное, зачастую решающее влияние на режимы, государства и армии. Поражение Конфедерации в годы гражданской войны в США можно почти наверняка объяснить кумулятивным эффектом многочисленных случаев дезертирства и неповиновения. Осенью 1862 года, спустя год с небольшим после начала войны, на Юге случился большой неурожай. Солдаты, особенно из штатов, свободных от рабства, получали письма от голодающей родни с просьбами вернуться домой. Многие из них последовали этим призывам, порой дезертируя целыми подразделениями и с оружием, и по возвращении домой в большинстве своем активно сопротивлялись повторному призыву до самого конца войны.

После решающей победы северян при Мишинери-Ридж зимой 1863 года стало понятно, что поражения Конфедерации осталось ждать недолго, и поэтому из войск Юга началось массовое бегство солдат, по большей части малоземельных рекрутов, которые не были прямо заинтересованы в сохранении рабства, тем более ценой собственных жизней. Их отношение к войне хорошо выражалось лозунгом «Воюют богачи, а умирают бедняки», особенно ярко иллюстрировавшим закон, по которому богатые плантаторы, владеющие более чем двадцатью рабами, могли оставить одного из своих сыновей дома — предположительно, для присмотра за рабами. С учётом всего вышесказанного получается, что всего дезертировало или вовсе уклонилось от призыва порядка четверти миллиона годных к военной службе мужчин призывного возраста. К этому удару по Конфедерации, армия которой и без того проигрывала в численности, добавилось и то, что многие рабы, особенно из приграничных штатов, перебежали к северянам и записывались в армию, чтобы сражаться на стороне Севера.

Наконец, очевидно, что остальные рабы, ободрённые успехами северян и не желавшие утруждаться производством военной продукции, работали так медленно, насколько это было возможно, и часто сбегали в такие места, как болота Грейт-Дисмал-Суомп на границе между Вирджинией и Северной Каролиной, где их было сложно найти. Тысячи и тысячи дезертирств, прогулов и побегов, которые были незаметны и не должны были быть обнаружены, усилили военную и промышленную мощь Севера и, вполне возможно, стали решающим фактором в окончательном поражении сил Конфедерации.

В конечном итоге завоевательным войнам Наполеона тоже помешали волны неподчинения, сопоставимые по масштабам с описанным выше. Хотя и говорят, что в своих ранцах солдаты Наполеона разносили по Европе революцию, не будет преувеличением предположить, что границы этих завоеваний серьёзно съезжились благодаря неповиновению тех, кто должен был носить эти ранцы.

С 1794 по 1796 годы, в период Республики, а потом, начиная с 1812 года — в период наполеоновской империи, — набирать рекрутов из сельской местности было чрезвычайно сложно. Семьи призывников, их соседи, местные чиновники и целые кантоны договаривались встречать и укрывать дезертиров, а также прятать тех, кто уклоняется от призыва, в том числе отрубая себе один или несколько пальцев на правой руке. Уклонение от призыва и дезертирство было своеобразным референдумом о популярности режима и, учитывая стратегическую важность тех, кто «голосовал ногами», уходя в армию, результаты этого референдума были очевидны. Хотя граждане Первой Республики и империи Наполеона с радостью восприняли обещание всеобщего гражданства, его логичное следствие — всеобщая воинская повинность — была воспринята с куда меньшим энтузиазмом.

Вернёмся на мгновение назад. Важно отметить кое-что характерное для этих поступков: практически все они анонимны, они не кричат о себе. Их эффективность заключается в незаметности. Дезертирство сильно отличается от открытого мятежа, который прямо бросает вызов военному командованию. Оно не заявляет о себе публично, оно не издаёт манифестов; дезертирство — это не ответ, это уход от ответа. И вместе с тем, когда число дезертиров предаётся огласке, оно сдерживает амбиции командиров, которые знают, что они, возможно, не смогут рассчитывать на новобранцев. Во время непопулярной войны во Вьетнаме так называемый фреггинг (убийство с помощью осколочной гранаты) офицеров, которые неоднократно подвергали своих солдат неоправданному риску, был гораздо более жестоким и ярко выраженным, но всё же анонимным действием, направленным на снижение смертельного риска для солдат. Легко предположить, как сообщения о фреггинге, достоверные или нет, заставляли офицеров колебаться, когда они собирались вызваться на опасное дело со своими подчинёнными. Насколько мне известно, исследований относительно реальной распространённости фреггинга не проводилось, не говоря уж об изучении влияния этого феномена на поведение командного состава и на результаты войны. В этом случае мы снова сталкиваемся с заговором молчания с обеих сторон.

Тихое и безымянное нарушение закона и неповиновение, которое часто поддерживается и покрывается другими, вероятно, были излюбленными способами политической борьбы для крестьян и низших классов, для которых открытое восстание было бы слишком опасным. На протяжении двух столетий — приблизительно с 1650 до 1850 года — самым популярным преступлением в Англии было браконьерство, то есть незаконные вырубка леса и сбор хвороста, незаконная охота и рыбалка, незаконная заготовка сена на землях короля или помещиков. Популярное означает самое распространённое и одновременно наиболее горячо одобряемое простонародьем. Поскольку пейзаны так никогда и не согласились с притязаниями короны и дворян на владение дарами природы в лесах и реках, на полях, лугах и пастбищах, они постоянно и массово посягали на эту частную собственность, что, по сути, превращало любые попытки элит завладеть землей в пустой звук. И всё же народ вёл

войну за право собственности на землю и ее плоды исподтишка и почти никогда не объявлял её публично. Фактически крестьянам удалось утвердить своё право на эти земли, никогда формально об этом не заявляя. Часто отмечалось, что укрывательство виновных в таких преступлениях было настолько распространено, что егеря редко могли найти крестьянина, который согласился бы выступить свидетелем со стороны обвинения.

В историческом споре за право собственности противоборствующие стороны использовали наиболее подходящее им оружие. Чтобы утвердить и отстоять свои притязания на землю, элиты, контролировавшие законодательный аппарат государства, издавали билли об огораживании и правовые акты о единоличном владении; что уж говорить о полиции, егерях, лесниках, судах и виселицах? У крестьян и низших классов не было доступа к такой тяжелой артиллерии, поэтому для оспаривания претензий элит и утверждения своих прав они полагались на такие методы, как браконьерство, воровство и самозахваты. Незаметное и безымянное, как и дезертирство, это «оружие слабых» резко контрастирует с открытым вызовом, преследующим те же цели. Получается, что дезертирство менее рискованно, чем мятеж, тайный самозахват менее рискован, чем вторжение на земельные участки, а браконьерство менее рискованно, чем открытое заявление своих прав на древесину, дичь или рыбу. Для большей части населения планеты в наши дни, как и для низших классов в прошлом, такие методы были и являются единственной доступной формой повседневной политической борьбы. Когда они не приносили плоды, простому народу приходилось идти на более явные проявления конфликтов — восстания, беспорядки и открытые мятежи. Такие претензии на власть внезапно врываются в официальную историографию и оставляют след в архивах — излюбленном месте историков и социологов, которые придают архивным документам гораздо большее значение, чем они имели бы при более целостном описании классовой борьбы. Тихое непритязательное повседневное неповиновение ускользает от внимания историков, так как обычно не упоминается в архивах, не размахивает флагами, не имеет руководителей, не пишет манифестов и не имеет постоянной организации. Ведь те, кто вовлечен в такие формы политической борьбы, как раз и хотят остаться незамеченными. Можно сказать, что исторически цель крестьян и низших классов заключалась в том, чтобы их деятельность не попала в архивы. Если уж это произошло, можно с уверенностью сказать, что что-то пошло не так, причём серьёзно.

Если рассматривать диапазон политической борьбы управляемых классов от мелких безымянных актов сопротивления до массовых народных восстаний, можно заметить, что всплескам более рискованной открытой конфронтации обычно предшествует возросшее количество анонимных угроз и насильственных действий — подмётных писем с угрозами, поджогов и угроз поджога, порчи скота и оборудования, саботажа и т. д. Местные элиты и чиновники всегда знали, что такие действия предвещают скорое открытое восстание. Именно так объяснялись те, кто этим занимался, и частота неповиновения и «уровень угрозы» (термин, используемый министерством национальной безопасности США) воспринимались правителями того времени как провозвестники народного гнева и политических волнений. В одной из своих первых статей молодой Карл Маркс подробно разбирал корреляцию между безработицей и снижением зарплат среди фабричных рабочих в Рейнской области с одной стороны и увеличением количества уголовных дел о краже дров из помещичьих лесов с другой.

Подобные нарушения закона, по-моему, являются особым подвидом коллективного действия. Они нечасто признаются таковыми — во многом из-за того, что не высказывают претензии такого рода открыто, а также потому что они почти всегда одновременно служат собственным интересам человека. Как определить, что важнее для браконьера — тёплый очаг и тушёная крольчатина или оспаривание претензий аристократии на дерево и дичь, которые он взял в лесу? Он точно не заинтересован выносить на суд общественности мотивы своих поступков, делая их достоянием истории. Успех его притязаний на древесину и дичь зависит от того, останутся ли его действия и их мотивы в тени. И вместе с тем успех таких нарушений закона в долгосрочной перспективе зависит от согласия друзей и соседей браконьера покрывать его. Они могут делать это, потому что верят в собственные права на дары природы и сами занимаются браконьерством. В любом случае, они не станут свидетельствовать против браконьера в суде или выдавать его властям. Для того, чтобы добиться практических результатов, необязательно вступать в сговор. Так называемая «ирландская демократия» — тихое и настойчивое сопротивление, самоустранение и жесткость миллионов обычных людей — медленно, но верно поставили на колени больше режимов, чем революционные партии или бушующие толпы.

Фрагмент 3. Продолжая разговор о НЕПОВИНОВЕНИИ

Чтобы убедиться в том, что молчаливая согласованность в нарушении закона может походить на спланированные коллективные действия, но при этом быть опасными и неудобными для окружающих, мы можем рассмотреть это на примере соблюдения водителями скоростного режима. Допустим, на некоем участке дороги скорость ограничена до 90 км/ч. Вероятно, дорожная инспекция будет снисходительна к тем, кто едет 91, 92, 93 и вплоть до 98 км/ч, хотя, строго говоря, это уже превышение. Такое «разрешённое превышение» вскоре входит в обычай, и большинство автомобилей движется уже со скоростью 100 км/ч. А как насчёт 101, 102, 103 км/ч? Водители, которые едут быстрее, чем фактически разрешено, по их мнению, остаются в относительной безопасности. Вскоре нормой становятся уже 100–105 км/ч, и безнаказанность каждого водителя, который движется с такой скоростью, полностью зависит теперь от движущегося с той же скоростью потока машин. Превышение скорости, порождаемое созерцанием и молчаливой согласованностью, становится заразительным, хотя гипотетического «Центрального Комитета водителей», который собирался бы для разработки и планирования массовых акций гражданского неповиновения, не существует. Конечно, в определённый момент дорожная полиция вмешивается в процесс, наказывая всех, кого удалось задержать, и теперь водители уже должны следить за скоростью, с которой они движутся. А поскольку всегда находятся торопыги, испытывающие на прочность её верхнюю границу, если их никто не ограничивает, скорость начинает расти. Как и с любой аналогией, этот пример нельзя трактовать слишком широко. Люди превышают скорость по причине удобства, а не из-за спора о своих правах или личных претензий, и опасность, которой спешащие водители подвергаются при встрече с полицейскими, сравнительно невелика. Между прочим, если бы у нас было ограничение скорости до 90 км/ч и только три дорожных полицейских на всю

страну, но эти полицейские показательно казнили бы пятерых или шестерых задержанных за превышение, повесив их трупы вдоль автострад, динамика, описанная мной, немедленно стала бы совсем иной.

Я заметил похожую тенденцию в том, как люди срезают путь, а потом эти тропинки мостят, и они становятся узаконенными. Представьте себе, как люди обычно перемещаются изо дня в день. Если бы их путь пролегал только через замощенные дорожки, им приходилось бы идти по двум катетам вместо нехоженой гипотенузы. Скорее всего, некоторые из пешеходов решат срезать путь и, если никто им не воспрепятствует, вытопчут дорожку, которую вслед за ними будут выбирать остальные пешеходы — просто чтобы сэкономить время. Если движение по этой дорожке будет достаточно оживлённым, а зрители — достаточно лояльными, такую тропинку могут со временем замостить — снова молчаливая согласованность в чистом виде. Конечно, почти все дороги в старинных городах, которые выросли из маленьких поселений, появились именно таким образом: они оформились из повседневных направлений движения пешеходов и повозок — от колодца к рынку, из церкви или школы к ремесленному кварталу — хороший пример принципа, который приписывают Чжуан-цзы: «Путь создаётся ходьбой».

Переход от практики к обычаю, а от него к узаконенным правам — общепринятая практика, как в обычном, так и в позитивном праве. В англо-американской традиции эта практика представлена законом о давности приобретения, когда захват собственности на достаточно долгий срок служит основанием для того, чтобы претендовать на законное право владения данным имуществом. Во Франции фактический захват земельного участка в случае доказательства его давности обретает статус законного приобретения и наделяет захватившего его правом собственности.

Совершенно очевидно, что субъекты, которые под властью авторитарного режима не имеют выбранных ими представителей, которые стояли бы на страже их интересов, а также лишены обычных возможностей протеста (демонстраций, забастовок, организованных общественных движений, диссидентских СМИ), не имеют иного выхода, кроме как тянуть время, заниматься саботажем, браконьерством, воровством и, наконец, восстать. Конечно, институты представительской демократии, свобода слова и собраний, которыми обладают граждане в наши дни, делают такие формы неповиновения ненужными. Ведь основная цель представительской демократии как раз и заключается в том, чтобы с помощью имеющихся общественных институтов дать демократическому большинству возможность реализовать свои притязания, какими бы они ни были.

Жестокая ирония заключается в том, что эта великая цель демократии редко реализуется на практике. Большинство великих политических реформ XIX и XX веков сопровождалось массовыми акциями гражданского неповиновения, беспорядками, нарушениями закона и общественного порядка и, как апофеоз, — гражданскими войнами. Эти волнения не только сопровождалось радикальными политическими изменениями, но зачастую были совершенно необходимы для того, чтобы они случились. Представительские институты и выборы сами по себе, к сожалению, редко приводят к существенным изменениям в отсутствие обстоятельств непреодолимой силы, например, экономической депрессии или войны.

Неудивительно, что вследствие неравномерной концентрации собственности и богатства в либеральных демократиях, а также привилегированном доступе к средствам массовой информации, культуре и всем тем преимуществам, которые имеются у богатейшей прослойки населения, как отмечает Грамши, наделение рабочего класса правом голоса не приводит к радикальным политическим изменениям [7]. Обычно для парламентской политики свойственна скорее инертность, чем поддержка серьёзных реформ.

Если наша оценка в целом верна, мы обязаны подумать над парадоксальным вкладом нарушений закона и беспорядков в демократические политические изменения. Взяв в качестве примера США в XX веке, мы обнаружим два основных периода реформ — Великую депрессию 1930-х гг. и движение за гражданские права чернокожего населения в 1960-х гг. В обоих случаях поражает ключевая роль, которую массовые беспорядки и угроза общественному правопорядку играли в процессе реформ.

На важнейшие политические перемены, например, назначение пособий по безработице, грандиозные проекты общественного строительства, социальное обеспечение малоимущих, а также Акт о сельскохозяйственном регулировании, несомненно, повлияла всемирная депрессия. Однако это чрезвычайное положение в экономике проявлялось не в сухих цифрах статистики доходов и безработицы, а в широко распространённых забастовках, мародёрстве, отказах платить за аренду, осаде мест выдачи гуманитарной помощи, иногда сопряжённой с насилием и беспорядками, вдохнувшими, пользуясь выражением моей матери, «страх божий» в души политических и бизнес-элит. Они были чрезвычайно встревожены этими симптомами революции. С самого начала все эти события происходили вне каких-либо институциональных рамок — никакие политические партии, профсоюзы или узнаваемые социальные движения не играли в них определяющей роли. Эти явления не несли в себе согласованной политической программы — напротив, они были поистине бессистемными, хаотичными и страшными для установленного порядка. Именно по этой причине не было никого, с кем можно было бы договариваться, кто мог бы пообещать спокойствие в обмен на смену курса. Угроза, которую представляли эти выступления, была обратно пропорциональна уровню их проникновения в систему. Переговоры можно вести с профсоюзом или с прогрессивным движением за реформы — с организациями, встроенными в институциональный аппарат. Забастовка — это одно, стихийная же забастовка — совсем другое: такую не в силах прекратить даже профсоюзные лидеры. Демонстрация, даже многочисленная, но имеющая лидеров — это одно, а бунтующая толпа — нечто иное. У них не было чётких требований и вождей, с которыми можно было вести диалог.

В конечном итоге источник массового спонтанного возмущения и беспорядков, угрожавших общественному порядку, лежал в резком росте безработицы и обвале заработной платы у счастливых, ещё не потерявших работу. Нормальные условия, в которых работала обычная политика, внезапно испарились. Ни правительственные меры, ни решения, предлагаемые институциональной оппозицией и представительскими органами, не имели особого смысла. На индивидуальном уровне уход от привычных действий выражался в бродяжничестве, преступности и вандализме, на коллективном он выплёскивался в спонтанное сопротивление — бунты, захваты заводов и фабрик, забастовки с применением силы, демонстрации, перерастающие в беспорядки. Именно социальные силы, разбухшие Великой депрессией — силы, усмирить которые не могли ни политические элиты, ни

крупные собственники, ни, что важно, профсоюзы и левые партии — сделали реформы возможными: властям пришлось проводить их помимо своей воли.

Один мой пронцательный коллега однажды заметил, что либеральные демократии на Западе обычно действуют в интересах примерно 20% самых богатых граждан, и добавил: «Чтобы всё шло гладко, особенно накануне выборов, нужно убедить треть населения в том, что опасаться беднейших следует вдвое больше, чем завидовать этим 20%». Об относительном успехе этой схемы можно судить по тому, насколько устойчиво неравенство доходов — а за последние полвека оно стало ещё сильнее. Моменты, когда эта схема даёт сбой — это кризисные ситуации, когда народный гнев переполняет чашу терпения и угрожает смести ориентиры, в которых функционирует обычная политика. Жестокость обычной, внутрисистемной либерально-демократической политики проявляется в игнорировании интересов бедняков до тех пор, пока не разразится внезапный и мощный кризис, который выведет их на улицы. Как отмечал Мартин Лютер Кинг: «Бунт — это язык тех, кого не слышат». Масштабные беспорядки, бунт и спонтанный протест всегда были самым мощным оружием бедных. Такая деятельность не бессистемна: её структуру образуют неформальные, самоорганизованные и невидимые взаимосвязи в квартале, на заводе и в семье, находящиеся вне привычных политических институтов. Это тоже своего рода структура, просто не вписывающаяся в рамки институциональной политики.

Наверное, самая большая ошибка либерально-демократических стран состоит в том, что им исторически не удавалось посредством своих институтов успешно защищать жизненно важные экономические интересы и обеспечивать безопасность наименее социально защищённых слоев населения. То, что демократический прогресс и обновление, напротив, по-видимому, зависят от масштабных случаев внесистемного беспорядка, радикально противоречит обещанию демократии служить инструментом для мирных перемен в ключе существующих институтов. И то, что демократическая политическая теория не может объяснить ключевую роль кризиса и причины отказа институтов во время подобных социальных и политических реформ, когда политическая система обретает новую легитимность — это очевидный её провал.

Ошибочным и даже опасным будет полагать, что столь масштабные провокации всегда или хотя бы зачастую приводят к значительным структурным реформам. Вместо этого они могут привести к репрессиям, ущемлениям гражданских прав и свобод, а в крайних случаях — и к свержению представительской демократии. И всё же невозможно отрицать, что большинство конкретных реформ не началось бы без мощного всплеска недовольства и стремления властей успокоить народ и нормализовать обстановку. Желание использовать более «красивые» методы — претендующие на высокоморальность мирные собрания и демонстрации, которые призывают к праву, народовластию и свободам — вполне законно. Однако, если смотреть на вещи непредвзято, такие красиво оформленные и умеренные требования редко инициировали структурные реформы.

Усмирить неуправляемый протест, направить поток народного гнева в привычное русло социальных институтов — в этом и состоит роль профсоюзов, партий и даже радикальных общественных движений. Можно сказать, что их функция — перевести недовольство, раздражение и боль на язык связной политической программы, которая может стать

основой для выработки политики и законотворчества. Они — передаточный механизм между неуправляемым обществом и устанавливающими правила элитами. Подразумевается, что они хорошо справляются со своей задачей, если не только могут сформировать политические требования, которые будут приняты органами законодательной власти, но и попутно усмирят толпу и вернут контроль над ней, правдоподобно представляя её интересы (большей её части) перед теми, кто управляет страной. Правители ведут переговоры с такими «институтами перевода» постольку, поскольку люди им доверяют, а значит, заявляя о том, что они кого-то представляют, они могут действительно контролировать их. В этом случае не будет преувеличением сказать, что такого рода организованные интересы паразитируют на спонтанном неповиновении тех, чьи интересы они вызываются представлять. Именно это бунтарство — источник любого влияния, которым эти организации располагают в острые моменты, когда правящие элиты стремятся удержать восставшие массы и вновь направить их в русло нормальной политики.

Ещё один парадокс: в такие моменты организации, представляющие прогрессивные интересы, становятся заметными и влиятельными, используя неповиновение, не ими вдохновленное и не ими же контролируемое. Они приобретают влияние потому, что предполагается, что им удастся усмирить бунтующие массы и вернуть их в русло реальной политики. Если у них это получается, то, конечно же, парадокс углубляется, поскольку с уменьшением волнения, сделавшего их такими влиятельными, уменьшается и их способность влиять на политику.

Движение за гражданские права в 1960-х гг. и удивительно быстрое появление на сегрегированном Юге США отделений федерального бюро регистрации избирателей, а также принятие Закона об избирательных правах — всё это в целом происходило по той же схеме. Широкое распространение получили передвижные пункты регистрации избирателей, Freedom Rides [8] и сидячие забастовки, инициатива организации которых исходила из разных центров. Усилия многих организаций, специально созданных для того, чтобы координировать и организовывать все эти протесты — например, Студенческий координационный комитет ненасильственных действий — не говоря уж о старых, мейнстримовых правозащитных организациях вроде Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения или Конгресса расового равенства и Южной конференции христианских лидеров, не увенчались успехом. Энтузиазм, спонтанность и креативность набирающего обороты общественного движения далеко опережали те организации, которые хотели его представлять, координировать и направлять.

И вновь именно эти широко распространившиеся волнения, в значительной степени вызванные насилием со стороны поддерживающих сегрегацию и власть, обусловили кризис правопорядка в большей части южных штатов. Теперь Конгресс США спешно рассматривал годами пылившиеся под сукном законодательные акты, а Джон и Роберт Кеннеди совместно пытались справиться с ростом протестов и демонстраций. В контексте холодной войны их руки были связаны, потому что советская пропаганда использовала насилие на Юге, чтобы называть США расистским государством. За короткое время массовые беспорядки и насилие привели к тому, чего невозможно было достичь десятилетиями мирной организации и лоббирования.

Я начал этот очерк с довольно банального примера — перехода дороги на красный свет в Нойбранденбурге. Я говорил об этом не для того, чтобы побудить читателей нарушать закон ради нарушения закона, а тем более не ради того, чтобы сэкономить пару минут. Я всего лишь хотел показать, как привычка автоматически повиноваться может приводить к ситуации, которую всякий по здравому размышлению сочтет абсурдной. Почти все истинно освободительные движения вначале противостояли установленному закону порядку, не говоря уже о карательном аппарате. Они едва ли победили бы, если бы не несколько храбрецов, готовых нарушить эти законы и обычаи (например, устраивая сидячие забастовки, демонстрации и массовые нарушения принятых законов). Их действия, подпитываемые гневом, раздражением и яростью, наглядно демонстрировали невозможность удовлетворения их требований при существующем порядке и общественных институтах. Таким образом, главным в их готовности нарушить закон было не столько желание посеять хаос, сколько побуждение установить более справедливый законный порядок. Во многом именно нарушителям закона мы обязаны тем, что наши нынешние законы лучше и справедливее, чем в прошлом.

Фрагмент 4. Объявление: «Лидер ищет последователей. Готов следовать за вами»

Бунты и беспорядки — не единственный способ заставить власти считаться с мнением народа. В определённых обстоятельствах элиты и лидеры особенно внимательны к гласу народа, к тому, что народу нравится или не нравится. Например, в случае с харизмой. Обычно о том, кто обладает харизмой, говорят так, будто у него есть сто долларов в кармане или БМВ в гараже. Но на самом деле, конечно же, харизма — это взаимоотношение, целиком и полностью зависящее от аудитории и уровня её культуры. Харизматичное выступление в Испании или Афганистане и близко не посчитают таковым в Лаосе или Тибете. Иными словами, харизма зависит от ответной реакции, от того, как люди откликаются на выступление. И в определённых случаях элиты очень сильно стараются получить этот отклик, найти правильный тон, чтобы их высказывание соответствовало желаниям и вкусам слушателей и зрителей. Изредка можно понаблюдать за такой подстройкой в режиме реального времени.

Рассмотрим в качестве примера одно из выступлений Мартина Лютера Кинга, которого в определённых кругах считают самым харизматичным американским публичным политиком двадцатого столетия. Благодаря Тейлору Бранчу и его подробному и скрупулёзному жизнеописанию Кинга и истории движения за гражданские права [9] мы можем сами увидеть, как проходил процесс поиска правильного тона в реальном времени и в респонсорном [10] пении афроамериканской церкви. Позволю себе привести длинную цитату из книги Бранча о речи, которую Кинг произнёс в декабре 1955 года в помещении ИМКА (YMCA, англ. Young Men's Christian Association — Юношеская христианская ассоциация) вскоре после оглашения приговора Розе Паркс и накануне бойкота автобусных линий в

“Сегодня вечером мы собрались здесь по важному делу”, — сказал он, поделив фразу на равные отрезки, сначала с восходящей, а затем с нисходящей интонацией. Когда он сделал паузу, прозвучало лишь несколько одобрительных возгласов, да и те несмелые. Он видел в толпе немало крикунов, но они молчали и ждали, к чему он клонит. (Затем он говорит о Розе Паркс как о хорошей гражданке).

“И мне думается, что у меня есть... есть основания говорить — хотя у меня нет на это права... что закон никогда не имел ясного толкования на этот счёт”. Эта фраза характеризует Кинга как оратора, который уделял внимание точности формулировок, что, увы, не вдохновило толпу. “Никто не посмеет оспорить того, что она — благородный человек и глубоко верующая христианка”.

“Так и есть”, — выдохнула толпа.

“И арестовали её только за то, что она отказалась встать с места”, — продолжил Кинг. Толпа заволновалась и теперь внимала Кингу гораздо активнее.

Следующая пауза была куда длиннее.

“И знаете что, друзья мои? Наступает время, — вскричал он, — когда люди больше не хотят находиться под железной пятой угнетения!”

Одобрительные возгласы внезапно слились в общий хор голосов, а секундой позже зал взорвался аплодисментами. Этот раскат катился по аудитории волной, которая, казалось, то спадала, то поднималась с новой силой, начинаясь за пределами зала. Топот ног по деревянному полу здания казался громом. Шум стоял такой, что, казалось, вибрировало всё, даже тела присутствующих. Звуки сотрясали здание и не собирались утихать, и этот процесс запустила всего лишь одна фраза, благодаря которой обычный для негритянских церквей обмен репликами между оратором и слушателями вырвался за пределы формата политического митинга и превратился в нечто, с чем Кинг раньше никогда не имел дела. Сам не осознавая того, он сдвинул с места огромную людскую махину.

Когда шум наконец утих, Кинг снова возвысил свой голос: “Приходит время, друзья мои, когда люди устают от постоянного унижения и беспросветного, тягучего отчаяния. Приходит время, когда людям надоедает, что их то и дело выталкивают из ясного солнечного июля в пронизывающий холод альпийского ноября. Приходит время, когда...” — Кинг заходил на новый виток, но рёв толпы уже заглушил его слова. Никто не знал, чем это было вызвано на сей раз — тем ли, что он затронул нечто очень важное, или

просто гордостью за оратора, который мог с такой лёгкостью приводить такие примеры. “Мы здесь... мы здесь, потому что мы устали”, — повторил Кинг».

Кинг выступал перед христианскими общинами чернокожих американцев, перед борцами за гражданские права и сторонниками ненасильственного сопротивления. В каждом из этих сообществ аудитория отличалась. Со временем, хотя слушатели его пламенных речей и казались пассивными, они стали помогать ему, отбирая своими откликами темы, создававшие эмоциональную связь между Кингом и слушателями, которые Кинг затем усиливал и разрабатывал, как мог только он. Он чаще упоминал темы, которые трогали за живое, а те, которые не вызывали отклика, постепенно уходили из его ораторского репертуара. Как и все харизматические явления, это была взаимная гармония.

Ключевое условие наличия харизмы — умение внимательно слушать и отвечать. Внимательно слушать означает зависеть от аудитории, взаимодействовать с ней. Слишком большая власть не нуждается в том, чтобы прислушиваться к мнению окружающих, и слышат лучше не те, кто наверху пирамиды, а те, кто внизу.

Повседневное качество жизненного пространства раба, крепостного, арендатора, рабочего или прислуги сильно зависит от того, насколько точно они могут понять настроение и желания господ — тогда как рабовладельцы, землевладельцы и начальство часто игнорируют нужды своих подчинённых. Главную роль в отношениях такого рода играют общественные условия, поощряющие такую внимательность. Для Кинга она заключалась в том, что ему предложили руководить бойкотом автобусного сообщения в Монтгомери, и он зависел от энтузиазма участников бойкота из чёрного сообщества.

Чтобы увидеть, как действует такое парадоксальное «составление речей» в иных контекстах, представим себе менестреля на рынке в средневековой Европе, который зарабатывает на жизнь пением и игрой на лютне. Далее, предположим, что он исполняет свои песни в бедных кварталах города и зависит от денег, которые бросают ему слушатели. Наконец, допустим, что у этого менестреля в репертуаре есть тысяча песен и что он только недавно появился в этом городе.

Мне кажется, что сначала наш менестрель начнёт петь что Бог на душу положит или будет играть те песни, которые нравились слушателям других городов. День за днём он наблюдает за реакцией слушателей и за количеством медяков в своей шляпе в конце дня. Иногда они, возможно, просят его что-нибудь сыграть. Со временем, конечно же, менестрель — если он достаточно внимателен, ведь это в его интересах — сузит свой активный репертуар до песен, которые нравятся его аудитории больше всего. Некоторые песни уйдут из его репертуара, а некоторые он станет повторять снова и снова. Слушатели со временем сформируют его репертуар в соответствии со своими вкусами и предпочтениями, так же, как слушатели Мартина Лютера Кинга со временем сформировали его речи. Наш пример слишком прост, поскольку не принимает в расчёт талант менестреля или оратора, который постоянно ищет новые темы и разрабатывает их, и не учитывает эволюции вкусов слушателей, но всё же он показателен в том, что харизматическое лидерство — процесс двусторонний.

Приведённый нами пример с менестрелем не так уж отличается от реальной истории китайского студента, посланного в деревню во время «культурной революции». Студент был хрупкого телосложения и не обладал никакими умениями, которые были бы полезны для крестьян, поэтому поначалу его презирали как ещё одного бесполезного нахлебника. Крестьяне сами недоедали, поэтому почти не кормили его, и студент постепенно угасал. Однако он обнаружил, что жители деревни любили, когда он по вечерам рассказывал им народные сказки, которых он знал сотни. Чтобы он подольше рассказывал их, крестьяне подкармливали его, выживал он в буквальном смысле благодаря сказкам. Более того, его репертуар, подобно репертуару нашего воображаемого барда, со временем подстроился под вкусы его слушателей-крестьян. Некоторые истории не трогали их, и тогда он оставался голодным, другие же слушателям нравились, и они просили рассказывать их вновь и вновь. Он буквально зарабатывал себе на жизнь рассказами, но вот музыку заказывала как раз аудитория. Когда позднее была разрешена частная торговля и стали появляться рынки, он рассказывал свои истории на районном торжище, где у него была уже другая, более обширная аудитория, и ему вновь пришлось адаптировать свой репертуар, теперь уже в соответствии с предпочтениями новых слушателей [11].

Политики, соревнующиеся за голоса избирателей в беспокойные времена, когда испытанные приёмы уже практически не работают, тоже, подобно менестрелю или Мартину Лютеру Кингу, стараются внимательно прислушиваться к тому, что волнует их избирателей, в чьей поддержке и энтузиазме они нуждаются. Ярким примером этого является первая президентская кампания Франклина Делано Рузвельта в начале Великой депрессии. В самом начале кампании Рузвельт был довольно консервативным демократом, не склонным делать слишком уж радикальные заявления или давать обещания. Однако во время кампании, которая в основном происходила на полустанках из-за того, что кандидат был парализован, стандартные речи Рузвельта изменились, став более радикальными и экспрессивными. Рузвельт и его спичрайтеры лихорадочно работали, пробуя новые темы, новые выражения и новые заявления чуть ли не на каждом полустанке, мало-помалу сообразуясь с реакцией аудитории. В эпоху беспрецедентной нищеты и безработицы Рузвельт встречался с людьми, которые смотрели на него с надеждой и ждали, что он им поможет, и постепенно его стандартная речь стала воплощать эти надежды. В конце кампании его «платформа» стала более радикальной, чем в начале. Аудитория на полустанках в каком-то смысле совместно написала (вернее, «отфильтровала») его речь, и изменилась не только она, но и сам Рузвельт, который теперь ощущал себя воплощением надежд миллионов отчаявшихся сограждан.

Такая форма влияния исподволь работает только при определённых условиях. Если менестреля нанимает местный помещик, чтобы он пел ему хвалу в обмен на еду и кров, репертуар менестреля будет другим. Если политик живёт в основном за счёт крупных спонсоров, которые хотят не только прислушиваться к общественному мнению, но и формировать его, то он будет уделять меньше внимания своим рядовым сторонникам. Социальное или революционное движение, которое ещё не пришло к власти, обычно отличается лучшим слухом, чем то, которое властью уже наделено. Сильнейшие не нуждаются в поддержке. Как выразился Кеннет Боулдинг, «чем крупнее и авторитарнее организация (или государство), тем вероятнее, что его верхушка пребывает в своём полностью воображаемом мире» [12].

Версия #2

Зверобой создал 9 июня 2025 17:48:45

Зверобой обновил 9 июня 2025 17:52:36